

КОРНИ

1

«Приезжай в гости» — огромными буквами поверх синюшных клеточек тетрадного листа. Вот такое письмо я получил от бабки. Впервые в почтовом ящике оказалось что-то помимо счетов, рекламы и окурков.

Сам конверт — сплошь марки. Посередке кровавое пятнышко «Чесменского боя», затем чей-то дряблый профиль, еще прифигившие мордочки Белки и Стрелки на клочке космоса, а после — улыбается Гагарин. Да и куча всего, сплошь цветастая мозаика, рисующая лоб и скулы умершей эпохи.

Зачем зовет? Может, помирать собралась. Еще вариант — рехнулась. Тяжело не рехнуться, когда ты ровесник сада, что шумит за окном и роняет в траву переспевшие яблоки, которые некому и нечем есть.

Дома хотел остаться, тем более выходные. Но была такая мысль: наверное, она налепила все это, потому что для нее я еще мальчик. Может, она хотела меня развлечь? Вот же и машинки какие-то наклеены, и ракета золотая загибает вираж над гербом СССР. Простой и трогательный призыв с того конца подсыхающей ветви генеалогического дерева.

И решил — поеду, потому что такие обороты

в груди — это редкость, и к ним нужно прислушиваться. Сперва распечатал кусок карты, вырезав из нескончаемых полотен «Гугл Мэпс». На месте поселка детализация была нулевой: полем-поле, росчерк дороги, железка нервом тянется на восток, ну и само «Бадягово» наклеплено на светло-зеленую гладь. Не верю, что окажусь где-то посреди этого ничего. Если смотреть вот так, сидя перед монитором, все кажется особенно бесплотным. Ладно, рано приеду — рано уеду. Утром на поезд, к обеду на станции, а там как получится.

И поначалу все было неплохо. Сошел где надо, стою уже на перроне, десять раз вымок и десять раз высох по дороге, радуюсь ветерку, допивая теплую минералку.

И вот, самое страшное — вокруг ни черта нет, кроме природы. Длится и длится приземленная зелень, меж нее протянута и потеряна тощая грунтовка, вдалеке к горизонту липнут деревья, поблизости только покосившийся дом мигает солнечными бликами в оконных рамах.

Вынужден сказать о небе — оно было синим, то есть — вообще, без малейшего облачного плевка и завихрения. Это меня беспокоило. Время-то идет? Вот и часы на единственном столбе показывали, что нет, не идет. Мол, а ты иди уже куда-нибудь.

И я пошел. Навстречу объятиям того самого ничего, пятнами сохранившегося на замусоленной распечатке. И заблудился, да так, что некого позвать. Хоть полно воздуха, но вакуум, травы зачесывает, со скуки дует на одуванчики, вмещает всю эту жару и меня, но звуков не передает. Только стрекоза, метнувшись от издыхающего пруда, протрещала что-то на ухо. Я прогнал ее и совсем потерялся, став частью пейзажа.

К вечеру только нашел дом. Сама деревенька была напрыскана на местность в хаотичном порядке, и хаос надвое делился ручьем.

Постучал в дверь — ничего, по окошку так аккуратно побарабанил — тоже. Спит, что ли? Зашел и увидел: кухня, громада печки, стол рядом, и стулья раскорячились друг напротив друга, готовые воплотить чей-нибудь диалог. Проскрипев по язвам половицы, я прошел в комнату.

Там в пыли все и паутине, мухи дохлые черными угольками рассыпаны по полу, со стен только смиренные лики смотрят на иссохшие, скорченные мощи с прилипшим ко лбу троеперстием, слившимся с костью воедино. Крепко же она спала...

Рванул я со страху и, у выхода запнувшись о порог, вылетел под ноги к Андреичу.

Он поднял меня и говорит что-то, но ничего не слышу. Теплота на голову нахлынула, глаза горят, дышится тяжело, сиплю только, повторяя:

— Ну ни хрена же.. ни хрена же себе..

3

Сидим на кухне. Точнее — я сижу, а Андреич ходит, то у печки постоит, оглядывая стыки кирпичной кладки в пятне осыпавшейся штукатурки, то у окна постоит, высматривая кого-то. Нейметса ему. Выгуливает крик, что называется.

Андреич закурил, прежде почему-то спросив у меня

разрешения. Потому и начали говорить, ведь я ему разрешение, а он мне слово.

Охотник он, вот и сейчас ремень ружейный на плече поправляет, поглядывая в сторону комнаты. Бабку, говорит, пришел проведать, месяца два он не заходил. Крепкая была, землю вон сама держала, ну как держала, цеплялась.

Лет двадцать я бабуку не видел, но ему говорю, что год, мол дела и дела были. Узнав об этом позже, он назовет меня херней на лопате. Но это потом.

— Это. Не пахнет ведь, — говорит, — совсем, а должно.

— Не пахнет, — отвечаю.

Ну и как доживалось, бабуль? Это ведь конец. Ходила, землю тюкала напоследок, щипала сорняки в ведро. Затем в дом шла отдохнуть, пока солнце в зените и не настроении.

В это же время смерть, боясь спугнуть, услужливо помешивала тебе ложечкой чай, да так, чтобы ребра кружки не звенели, нарушая тишину, которая вот-вот свершится окончательно. После чая вы раскрывали «Сад» за июнь прошлого года и, сверяясь с лунным календарем на развороте, представляли какие цветы всходили бы прямо сейчас.

4

Стемнело, мы ждали рассвета, так как решили, что закопаем ее на участке, как только появится солнце.

— Давай это, помянем, — начал он.

— Чем?

— У нее бражка была.

— Где? — спрашиваю.

— В подполе.

— А подпол где?

— Там..

— Не, старик, я не полезу.

Молчим, но по лицу вижу, что он полез бы, но признаться стыдно.

Да не стыдись, дед, меня и самого сейчас влечет эта багровая муть.

— Ну давай нажремся, — говорю.

Он вздохнул, раздумывая на счет этичности подобной формулировки. Но решил, что да — мы нажремся. Звезд над деревней много, и в каждом фрагменте их взаимосвязей можно напорочить полный стакан, или чужую жену, или тяжкие телесные повреждения, или, что редко, эпилептические перемиги габаритных огней самолета.

5

Держа за горло, будто стреляную утку, он принес бутылку и поставил на стол. Отряхнул рукава, ружье в угол пристроил, растер затекшее плечо, и был готов к продолжению.

Помянули, конечно. Пытались говорить, но момент, когда вроде бы есть о чем — все не наступал. Да и бражка по началу не брала. Бывает так, когда устаешь. То есть ты, конечно, уже пьян, но еще не осознал этого.

Андреич подливал себе все чаще, запивая иногда водой из фляги. И начал говорить, что странно. Показалось ему, что вот самый момент, и пора бы уже начать нам что-нибудь обсуждать.

Речь пошла об охоте. Рассказал он, как сохатого убил в упор, подкатив к нему на моторке, пока тот переплывал поток. Пришлось изловчиться, стрельнуть и сразу за рога привязывать к борту. Потом, под неодолимым креном к берегу волочь, пока вода размазывает и растягивает бурый след.

Тушу он разделявал на берегу, по локоть в крови, и тащил на свет огромное сердце. Лес, наблюдая, стонал от возбуждения и ужаса.

Все, что я понял — мяса было много, и то, что это хорошо. Закимарив почти, я разглядывал этого самого сохатого, который представлялся мне чем-то прямоходящим.

Затем видел Андреича, что с ружьем наперевес курсирующего по синусу русла, ввинченного в сушу. Потом письмо от бабки появилось с ползающими по нему марками, и лицо чье-то проступило в полусне.

Слышу:

— Ты пей, что ли.

Очнулся и выпил, потом к фляге приложился, протянутой Андреичем. И опять мысль, силой сравнимая с той, что притащила меня сюда: наверное, ему теперь тут вообще не с кем поговорить будет, когда уеду.

Кому еще он сможет рассказать, как вышиб когда-то мозги сохатому и волок его к берегу, боясь перевернуться и утонуть. Здесь существуют только долгие световые дни на расстоянии световых же лет. Хоть кому-нибудь скажешь, что нос чешется — и то легче.

— Чем живешь? — спросил он, приметив видимо, как взгляд у меня переменялся.

Ну я и начал. По-своему, без оглядки.

— Ничем, — говорю.

Он не удивляется. Хотел что-нибудь интересное ему рассказать, а нечего. Единственная правда, что денег не хватает. Но останавливаться я не стал. Рассказал, что метро — это не так страшно, что город не очень красив, что дышать есть чем и ходить есть где. Сказал, что зарплата на карточках и соврал, что в магазинах нет нормально-го мяса. Сплошь жилы и лед.

Ему, вижу, скучно. Подлил он себе, опрокинул, закуривает и кивает.

— Внуки есть? — спрашиваю.

— Внучка.

— Приезжает?

— Нет.

— Ты письмо напиши, вдруг приедет.

— Напишу..

Не напишет. Кажется, не волнует его это. И слова мои. Другой он, и это по пьяни пугает. Казалось до этого, что старики говорить любят, цепляются за тебя и говорят, радуясь любому слову в ответ. Может, не так что со мной?

На ладони смотрю, налитые гудящим теплом. Лицо ощупываю, будто кусок потерял, чувствую, что пятнами пошел, есть у меня такая особенность.

— Ты че? — спрашивает Андреич, приметив.

— Кажись, я в говно..

— Рано, — а сам прилег на край стола.

— Не спи, Андреич.

— Не сплю, — а сам засыпает потихоньку, чем очень меня расстраивает.

Чувствую, что не надо нам засыпать. У нас тут все-нощная. Не спи, старик.. а то проспешь. Ну что ты в самом деле?

— Зажевать есть чем? — спрашиваю, ладонью скаты-

вая с бутылки лохмотья пыли, оголяя алые ее бока.

— Есть.. там, в огороде, — и, отлипнув от стола, тянется к фляге.

Смотрю в окно — нет, не пойду, темнота же, вдруг я там умру?

Откуда такая мысль только? Но верю — так будет. Вцепится темнота как паук репейный, сотнями лап загибающих, и останусь висеть на ее гранях, словно на колючей проволоке. Совсем один.

Воды хлебнув, Андреич яснее. И с этой минуты мы становимся пьяным как надо, то есть — сонастроенно — пьяными.

И начинается:

— Херня ты на лопате, — с грустью так говорит, узнав, что я бабку не навещал.

— Ира, — внучку зовут.

— Я тогда малой был, — это про войну.

— Сохатый? Ну это лось, ты че сразу не спросил? — говорит.

— Не жалко, — зверье стрелять.

— Дохлый ты какой-то, — признается.

И соглашаюсь, радуясь и подливая нам еще.

— Много, — лет ему.

— Не видел, — Сталина.

— Точно не видел, ну да ёптыть! — и смеемся.

— Дед, давай я тебя навещать буду? Будем охотиться, ты меня научишь?

Не отвечает. Кивнул так, мол услышал, но вслух ничего.

— Старик, вот че такое любовь? — спустя час дошли до атомов.

— Не че, а кто, — и с видом наимоощным попытался подняться из-за стола, чтоб покурить выйти, но там, в комнате, что-то грохнулось.

Сейчас понимаю — наверное, с гвоздика соскочил образок. Но думали иначе, потому и ломанулись к выходу, я с бутылкой, Андреич с ружьем. В ночь мы дуплетом вылетели на ватных ногах. Открыв кратер-рот, удивленно смотрела луна, потом успокоилась и накрылась дражной черной тучей.

— Околеем, — заключил Андреич, — пойдем.

6

Темень, тридцать соток и пустая бочка для полива, а дальше, за неразличимой и условной оградой, бесконечность. В покинутом доме свет горит. Вот куда нас занесло.

Андреич разломал ящик, что мы нашли по дороге, превратил в огонь с одной только спички. У костра сидим и допиваем. Молча, с акцентом на тишине и треске горения.

Дед, приняв, омыл ладони землей, раскатал пару комьев меж пальцами и задумался. Я думал, что все — сейчас на вкус попробует. Он так и сделал. На краешке языка попробовал и сплюнул. Пока его мозг, оперируя кусками санскрита, взвешивал данные о минерально-солевом балансе почвы, я решил осмотреть бочку. По пьяни у меня всегда просыпается интерес к деталям.

Добрался до нее, ухватился за край, пнул, послушал как звучит пустота, и тягуче плюнул в ее нутро, зачав там звук и влагу.

— Хорошая земля, — сказал Андреич уже скорее

себе, чем мне.

И думает, наверное, что легче? Стрелять или сеять?

Отцепившись от бочки, дрейфую в ночи. Иду все дальше и дальше, потому что предел этого дня комом уже подступил к горлу, и хочу от него избавиться, выбив взамен ну хоть крохотное просветление, отыскать его где-нибудь здесь, пока не рассвело.

Вместо откровений — тошнота. Потеряв из виду путеводное пламя, скитаюсь, наступая на чьи-то ладони, цепляющие подошвы. Падаю, трогаю землю, дышу в нее и поднимаюсь, отирая лицо от поцелуя.

Где-то вдалеке Андреич замертво валится набок. Ему снится Ира, которой дарит ожерелье из гильз от мелкашки.

— Андрееиич! — зря зову, ведь он уже среди корней, песчинкой опускается на дно, седым виском прорезая дорогу сквозь чернозем. Он на верном пути.

Массив темноты и я внутри, как муравей в смоляной слезе. Ничего не могу вспомнить, ничего не могу придумать для этой встречи с собой.

Наткнувшись на распятое пугало, теряю немилосердную нить и обнимаю его крепко.

Так и стою, боясь уснуть.

ИМЯ

— О, смотри, — Колька сказал.

Вдали от обочины человек лежит прочерком на чайной палитре крепкой осени.

— Олег небось. Эй, Олег! — зову.

Не отвечает.

— Олег! — басом ударив в окрестность, Колька позвал.

— Пойдем глянем.

Идем, и кругом в искренней нищете распахнут стылый простор. Все дремлет, сморенное скукой простуды, только далекий перелесок пробит ветром, что хлещет листвой среди тощих деревьев, а здесь ничего, тихо и холодно.

Мы подошли и в очередной раз встали над Олегом. Не ходит он, а только лежит по земле, так и видят его — то лицом в колее, то ногами из кустов, то убитым на горе белого щебня, то вот таким, как сейчас. Лежит на боку, край капюшона окоченело сжимает, оставаясь где-то внутри своей усыпальницы.

— Олег, — Колька ногой бережно его беспокоит, — иди домой.

— Далеко ушел, — говорю, — как бы не сдох.

— Да че с ним станется, — и на спину его раскрыл.

Вот наш Олег, острие кадыка торчит из шеи, голова запрокинута в ореол капюшона, ну а лицо, добела сми-

ренное интоксикацией и переохлаждением, схвачено рыжей щетиной, как пожаром.

— Тащить надо, замерзнет, — Колька предложил.

— Тяни, — и за ногу беру.

— Хотя, может перекурим наперед?

— Ладно, — и ногу отпустил, — огня дай.

Курим, поглядываем по сторонам, да поплевываем в тишину.

— Бфф, — с земли вдруг здоровается Олег, но все еще опрокинут и неподвижен.

— О, кто пожаловал, — Колька приветствует.

— Бффф, — он шумно выдыхает.

— Что такое?

И рука, точно ожив отдельно от него, стащи́лась к мертвому лицу, наискось два пальца приложила к губам.

— Понятно.

— Д-дай.

— Почуял, видать, — говорю.

— Ээ, — требует уже, и двуперстием постукивает по губам.

— Да на, на, — Колька напоследок зата́нулся и продел ему в пальцы окурочек.

Веки протянулись влагой взгляда, в Олега пролился серый свет дня. Небо открылось зеркалом мутным, затертым, без отражения. Мы это небо для него подпираем двумя тенями, в сигаретном дыму дыхания то исчезаем, то возвращаемся, что-то говорим, существуем, вот окурочек отняли, за ноги прихватили и тянем, протирая Олегом земляную полосу в павшей листве и прочесывая тугой ворс травяного сухостоя. Посреди осени за нами остается долгий след.

— Бэээф, — Олег наслаждается поездкой и смиренно тянется по празднику своего одиночества.

— Че? — спрашиваю.

— Бф.

— Это да.

— Что, Олег Владимырьч, а может еще выпьем? — заскучав, юродничает Колька и через плечо синевой глаза поглядывает на него.

— ..Дэ-а, — и вдруг прорезался ясной речью, — а есть что?

— Ооох ты ж еп! — и рассмеялись, аж выпряглись от его ног.

Слыша нас где-то снаружи, Олег подрагивает от беззвучного смеха, точно от припадка.

Никто не видел, когда именно он падал и когда поднимался, Олега всегда находили на полюсах его существования. Вот идет, заживо трезвый, смотрит на все со сдержанным недоумением легкой амнезии, точно все припоминает, а не помнит.

— Здорово, пьянь, — говорит, по дороге меня перехватив рукопожатием.

— Здоров.

— Куда идешь?

— На реку.

— А, ну иди, не искушай, — и разошлись по делам, не оставляя теней в припеке полудня.

Он рассказывал, есть у него такой страшок — выпить и к реке пойти за прохладой и зрелищем, за движением горизонта воды, и закончиться в ней, телом прибиться к чужим берегам и упокоиться под заголовком окружных новостей. Зимой же, осмелев, он сидит у лунки. Скованный силой внешнего и внутреннего градуса, он смотрит

в черный круг воды, как в рыбий зрачок, и что-то припоминает.

— Олег, зайди топор-то забери, — вот напомнили месяцы спустя, — и с топора он снова начинает собирать инструменты по домам и дворам, а некоторые и вовсе не находит, они ржавеют в траве.

Поднявшись, везде он шел по следам собственного труда. Ставил лестницу и лез на чердак, чтобы доправить потолок. На чердаке торчал недобитый гвоздь, рядом лежал молоток с витками изолянта на ручке, и Олег забивал гвоздь так, точно себя приколачивал покрепче, чтобы в этот раз не унесло, аж внизу сыпался сор и хозяйка накрывала стол платком. Те, до кого дошла весть, скоро звали Олега ставить забор, править стену сарая, баню достраивать, в срубе которой оставил долото, за которое когда-то не удержался и пропал, рассосавшись в хищном бурьяне.

Визг циркулярки режет лету хребет, тянет из лета доску, косточку мира. На звуки пилорамы Олег идет, как на обеденный звон. Под тенью навеса его встречает человек, покрытый древесной пылью. Горький древесный же дух растворен во всем, липнет к поту тела.

— Здорово, — говорит человек, — очухался?

— Да.. Мне бы досочек.

— Ну а чего ж еще, — позади него бревно движется по линии распила и течет опилками, щепкой постреливает, натрое раскрывается узорами нутра.

— А можно я на подхвате постою? — Олег смотрит на двойной диск циркулярной пилы, что пускает природу по швам.

— Проходили уже, ну к черту, кровяку твою отмывать. Пойдем глянem, какую тебе доску. Ток не борзей.

И доски ложатся на лик деревни светлыми заплатами, сияют свежестью перемен и темнеют под дождем. От двора к двору кочуют звонкие удары и западают в новый день. Снова и снова Олег появляется у пилорамы, как голодный пес, и его гонят, пока не возвращается с деньгой, которую за дело редко берет. И без этого прикармливают, зная, что не долго придется.

Все стихло — Олега видят на участке у соседей, он копает. Узкими траншеями поставил печать разметки, тянет красную нить от клубка, наматывает на колышки по углам, намечая в воздухе первое очертание теплицы. Вот загустел вечер третьего дня, последний луч исходит на раствор крепкого марганца, Олег пятном назрел под мутной алой пленкой и вышел в дверь, закрыл-открыл, проверил петли, все было неплохо, делать больше нечего.

— Олег, зайти поешь! — позвали.

Вечер чужой семьи пахнет вареным мясом, пар готовки лег на стекла и стал теплотой, и в покое этого тепла, в утробе пятистенки, не умолкают голоса телевизора. На кухне склонившись над поставленной порцией, Олег хлебает жижу.

Чужой ребенок, держась в проеме двери на слабых еще ногах, дивится уродством прищельца, движению челюсти, прихватившей кусок хлеба, проводящему ходу кадыка, страшной раковине уха, что чуть-чуть движется, когда это жует.

— Илюша, — подняли на руки, — ты чего здесь? Глянь как таращится. Это дядя Олег, не узнал? Он нам тепличку построил.

Илюша глупо смотрит сквозь кипящий сон своего детства, а на дверном косяке чужие зарубки ждут его

роста.

К себе вернувшись, Олег сидит под перепадами лампочки, иглой занозу ковыряет из пальца и что-то припоминает. В раскрытом окне ночь стынет слепой и свежей далью, из глубины которой тебя могут достать рукой. Только один раз застал его на самом изломе. Он сказал, что больше не пойдет к новеньким, что ему там душно, и я спросил почему, чтобы поддержать разговор.

Молодняк детдомовский, он и она получили жилье и шли к нему искрящей зимой, по-весеннему стуча сердцами. Олег вскоре подвязался править дом. Прошел по комнате и осматривает раму окна и в ней сонный снегопад, теперь в подпол забрался, да и вовсе шагает где-то над головой. На слова не тратится почти, а только кивает. Этот самый первый человек их новой жизни. Закончив дела, он торопился уйти, но все-таки они с благодарностью поймали его в гости пить чай.

Когда кто-нибудь третий был рядом, их охватывало молчание, из которого извлекали аккуратные слова в сторону этого третьего и сами обменивались скорее намеками, произнося обоюдные имена так, что постороннего невольно пробивал статических разряд. Каждый предмет в их руках отчужден. Все от них стоит отдельно, и они примечают вещи вокруг, а не пропускают в потоке рутины. Предчувствуют, что имеют какую-то новую власть, право распоряжаться вещами и собой, и друг-другом, и временем до самой смерти, и точно удивляясь — «надо же, вот посреди дома гостя принимаю».

От этого их движения иногда обращаются скованностью церемониальной грации, особенно когда Олегу подливают кипятку, подвигают угощение и строку в диалоге.

— Олег, а ты.

— Ну, я это.

— О, а мы.

— А я.

Не мог долго находиться рядом. Гадкое животное в нем скулило, чуя реальность увечий и холод сквозняка, который нечем заколотить.

Они, ему казалось, родились и воспитаны были от этого сквозняка, а не от людей вовсе, и сейчас неловко преодолевали это обморожение, расхаживались, растирались, снимая друг с друга прежнюю кожу.

Он стыдился этого странного отвращения и жалости, точно блуда, и скоро уже обходил их стороной.

— Душно мне у них, стыдно че-то. Не пойду больше.

И затерялся.

— Он у нас человек стихийный, не обижайтесь на него, — позже рассказал я новоселам, чтобы не подумали чего и не мучились зря.

— Это как?

— Пьет.

Сколько помню, он держал на силе собственных жил всякие деревяшки, а деревянные держали его. Но как только дело источалось или падало из рук, он смотрел в ладони, как в раскрытую книгу, скучал от этой повести и скоро уже клонился к земле. Вот снова куда-то отпал, язык в падении прикусил, и кровь тянется с краев рта по выбритым щекам, как былому началу очередной жизни.

— Олег, — зовут из темноты.

— Олег Владимирович! Иди, досочку дам.